

Н. А. Герасимова

*Костромской государственный
университет им. Н. А. Некрасова*

СКАЗКА И «СКАЗОЧНОЕ» В СТИХОТВОРЕНИЯХ Я. П. ПОЛОНСКОГО

Заметное место в поэзии Полонского занимают разные формы романтической фантазии. Достаточно сказать, что самая удачная из поэм Полонского «Кузнец-чик-музыкант», «шутка в виде поэмы», по сути своей романтическая сказка. Черты романтической сказки-фантазии легко увидеть в таких стихотворениях поэта, как «Соловьиная любовь», «Холодеющая ночь», «Орел и змей», «Влюбленный месяц», «Орел и голубка», «Двойник», «Сны». Одни из них навеяны восточными впечатлениями, другие несут гофмановскую печать. Но есть у Полонского сюжеты и образы, берущие начало в народной сказочной традиции. Их не так много, однако от них тянутся сквозные поэтические лейтмотивы, создающие характерный для поэзии Полонского символический подтекст, вносящие элемент страннысти и таинственности. В письме к Полонскому такой тонкий ценитель и почитатель его, как И. С. Тургенев, не случайно провел черту между «фантастическим» и «сказочным»: «Ты по преимуществу лирик, с неподдельной, более сказочной, чем фантастической жилкой» (8 : 15). В чем отличие «сказочного» от «фантастического»? Фантастика – важнейшая черта романтической эстетики – декларирует творческую свободу и индивидуальность, она причудлива и произвольна. Сказка же даже в своих фантастических элементах укоренена в традиции, несет на себе печать народной памяти. Сказочный образ в поэтическом тексте «подключает» обширнейший контекст народного миросозерцания.

Народные, национальные корни творчества Полонского, как и у многих других, – в его детстве, тех песнях и сказках, которые он слышал в доме бабушки Александры Богдановны Кафтыревой, старинном дворянском гнезде с обширной дворней. Вспоминая дом бабушки, Полонский писал о традиционном укладе жизни, соблюдении обычая, поста, святочных гаданий с пением подблюдных песен, о своем участии в играх и хороводах дворовых ребятишек: «Сколько раз, бывало, сидел я на полу вместе с Катьками, Машками и Николашками и вместе с ними тянул: «А мы просо сеяли, сеяли!», а другой ряд сидящих перебивал нас: «А мы просо вытопчем, вытопчем!»

Все это я очень любил и едва ли не все народные песни знал наизусть;...» (5 : 289) Память Полонского, бесспорно, сохранила и обширный репертуар сказок, в том числе сказок его няньки, крестьянской девочки Матрены. В позднем стихотворении «Старая няня», посвященном ей, читаем: «Раз, я помню, при огне / ты чулки вязала мне / (Или платье свое штопала?), / К нам метель в окошко хлопала, / Песнь затягивала – / Сердце вздрогивало... // Ты ж другую песню мне / Напевала при огне / «Ай, кипят котлы кипучие!» / Помню сказки я певучие, / Сказки всяческие – / Не ребяческие» (6 : 212). Роль Матрены в жизни Полонского в чем-то напоминает роль Арины Родионовны в жизни Пушкина: обе они связали своих пи-

томцев с многовековой крестьянской культурой России, связали не умозрительно, а в живом поэтическом слове, проникающем прямо в сердце. Отметим попутно, что тема «Полонский и Пушкин» давно ждет своего исследователя. Среди многих других аспектов этой темы представляет интерес и сопоставление сказочных мотивов и образов в их произведениях. Даже на первый взгляд здесь есть очевидные переклички и, скорее всего, имеет место определенное влияние пушкинских сказок на Полонского. Однако сказка и, шире, – «сказочное» в поэзии Полонского – это органичная и важнейшая ее черта, связанная с пушкинской традицией не только генетически, но и типологически. Сказки Пушкина «предстают в качестве своего рода азбуки национального характера, в которой уже содержатся «грозные вопросы морали», коренные проблемы бытия, где человек призван быть хорошим хозяином» (2 : 191) В стихотворениях Полонского сказочные сюжеты и образы создают если не «азбуку национального характера», то некий смысловой вектор, разрывающий замкнутый круг отъединенного романтического сознания и ведущий в такие глубины души, где частное сливаются с общим, а обыденное и простое – с таинственным и чудесным.

Стихотворение-сказка появляется уже в ранних стихотворениях Полонского и сопровождает весь его творческий путь. Первое «сказочное» стихотворение – «Солнце и Месяц» (1841). «Из числа моих стихотворений, – указывал сам Полонский, – наибольший успех выпал на долю моей фантазии «Солнце и Месяц», приоровленной к детскому возрасту: его заучивали наизусть, в особенности дети» (3 : 66). Братья Солнце и Месяц – традиционные образы русского фольклора: «Повсеместно месяц признавался вторым по важности небесным светилом после солнца. Народная память сохранила мифологические представления об их родственной связи: чаще всего считали, что солнце приходится старшим братом месяцу. Это мнение отразилось в загадке о месяце и солнце: «Младший уходит, а старший приходит». Обязанность месяца состоит в освещении земли ночью, когда солнце отдыхает» (7 : 57–58). В стихотворении Полонского сказка о Солнце и Месяце представлена как колыбельная с элементами диалога: «Ночью в колыбель младенца / Месяц луч свой заронил. / «Отчего так светит Месяц?» – / Робко он меня спросил» (6 : 29). В ответе дается очень простая, понятная ребенку картина космического порядка, где каждый «на учете» и каждому Господом отведена своя роль: дню и ночи, Солнцу и Месяцу, дождю и ветру, ребенку и взрослому. Господь отпускает уставшее Солнце отдохнуть, и оно передает свои права младшему брату Месяцу: «Солнце спит, а Месяц ходит, / Сторожит земли покой. / Завтра ж рано-рано к брату / Постучится брат меньшой. // И начнет рассказ свой Месяц, / Кто и как себя ведет. / Если ночь была спокойна, / Солнце весело взойдет. // Если ж нет – взойдет в тумане, / Ветер дунет, дождь пойдет, / В сад гулять не выйдет няня / И дитя не поведет». «Кто и как себя ведет» – простая формула нравственного контроля – напрямую связана с небесными силами и Господней волей. Мироустроительные небесные силы определяют как смену космических ритмов, так и выход «в сад гулять» няни и ее подопечного дитя. Бытийное и бытовое слиты и нерасторжимы. При всей детской наивности идеал мировой гармонии, представленный в стихотворении Полонского, – идеал глубоко народный, семейно-родовой по своей сути. В центре его качается колыбель младенца.

В дальнейшем мы не раз встретим в поэзии Полонского образы ночи, луны-месяца, колыбели (и ее модификаций: кибитки, корабля), няни, ветра-дождя-не-настя, олицетворяющих хаос. Эти образы приобретут характер лейтмотивов и сохранят ореол сказочности, распространяя его и на близкие образы, входящие в их орбиту. Например, «тени ночи»: «Пришли и стали тени ночи / На страже (курсив мой. – Н. Г.) у моих дверей».

Среди «сказочных» стихотворений Полонского самую тесную связь с русской волшебной сказкой имеют стихотворения «Зимний путь» и «Царь-девица». Смысловый ореол «сказочности», сказочной таинственности нельзя не ощутить и в стихотворениях Полонского, на первый взгляд, далеких от сказки. Например, в знаменитой «Затворнице» (1846) («В одной знакомой улице / Я помню старый дом / С высокой темной лестницей / С завешенным окном...») сквозит сказочный мотив терема и ждущей в нем суженого царевны. Старый дом на знакомой улице – очень достоверная бытовая деталь. Национальная русская типичность образного строя этого стихотворения легла в основу бунинского рассказа «В одной знакомой улице», герой которого «думал» стихами Полонского и удивлялся тому, что и у него «все это было когда-то»: «Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко...» (1 : 173) Ностальгический характер переживаний героя акцентирует внимание на конкретных «узнаваемых» деталях, но и таинственность этих деталей («высокая темная лестница», «завешенное окно», «никто не знал», «заветный час ночной», «Ветер занавескою тихонько шевелил», «сила тайная», «чудо-девушка») играет немаловажную роль в создании лирического настроения. Не случайно Бунин заменяет сравнение Полонского «огонек, как звездочка» на «огонек таинственный». Это не только ошибка памяти, но и фиксация впечатления. Таинственность, сказочность остро ощущаются как своего рода подтекст, выводящий за пределы единичного и частного по направлению к общему и извечному, архетипическому сказочному сюжету. Впервые этот сюжет появится в стихотворении «Зимний путь» (1844). В основе его стиховой композиции – строфическое кольцо: первая и шестая строфы создают образ ночного зимнего поля с затерявшейся в нем кибиткой. Однако пространственные образы стихотворения носят скорее центростремительный, чем центробежный характер. Пространство не раздается вширь, а сжимается в маленькое вместеище кибитки, а затем вообще преображается в сознании лирического героя. Обратим внимание на анафору в первой строфе: «Ночь холодная мутно глядит / Под рогожу кибитки моей, / Под полозьями поле скрипит, / Под дугой колокольчик гремит, / А ямщик погоняет коней» (6 : 36). Рогожа кибитки – как завеса («занавеска»), отгораживающая героя от холодного недружелюбного мира. Этот мир скорее слышимый, чем видимый. Он полон звуков: «поле скрипит», «колокольчик гремит», «Ямщик погоняет коней», «Вой протяжный голодных волков / Раздается в тумане дремучих лесов». Плавные переливы трех-четырех стопного анапеста ритмизируют эту тоскливо-однообразную музыку зимней дороги, похожую на колыбельную. И не будет большой натяжкой усмотреть в кибитке колыбель, движение которой – укачивание, навевающее «странные сны». Сны не столько снятся, сколько «мерещатся», так что «И не веришь и веришь очам».

Сознание переключается в другой регистр, в свои права вступает иная реальность – реальность сказки. Стrophы четвертая и пятая представляют собой вариацию волшебной сказки «Иван-царевич и серый волк». Но сначала в третьей строфе возникает образ сказительницы. Он имеет отчасти реальные, отчасти мифологические черты старухи-няньки, поющей колыбельные песни и рассказывающей любимые сказки: «Мне все чудится: будто скамейка стоит, / На скамейке старуха сидит, / До полуночи пряжу прядет, / Мне любимые сказки мои говорит, / Колыбельные песни поет». «Любимые сказки» – давно знакомые, много раз слышанные, глубоко и родственно вошедшие в память. Психологически достоверно это предвестие сказки – погружение в детство, но нельзя не обратить внимание на монументальность образа сказочницы. Она восседает на своей скамейке, как на троне. Еще А. Григорьев обратил внимание на эти строчки с композиционным стыком: «...скамейка стоит, / На скамейке старуха сидит». А уж пряжа не может не навести на мысль о мифологической пряже-парке. Правомерность такой параллели подтверждает сам Полонский, написав: «Моя судьба, старуха, нянька злая...». Но можно истолковать этот образ и в сказочном ключе: это своего рода Баба-Яга, амбивалентный по своей природе фольклорный образ проводницы в иные миры. Она живет на границе и знает тайны и этого, и того мира, она указывает сказочному герою дорогу. Она опасна для непосвященного, не-царевича: для обычного взрослого человека – просто старуха, для ребенка – нянька, для царевича – покровительница и судьба. Во сне происходит перемена статуса лирического героя, он обретает свое подлинное «я» (умалившись до ребенка, он возрастает до царевича) и свое предназначение: «И я вижу во сне, как на волке верхом / Еду я по тропинке лесной / Воевать с чародеем-царем / В ту страну, где царевна сидит под замком, / Изнывая за крепкой стеной. // Там стеклянный дворец окружают сады, / Там жар-птицы поют по ночам / И клюют золотые плоды, / Там журчит ключ живой и ключ мертвый воды – / И не веришь и веришь очам». Как известно, важнейшая особенность волшебной сказки – это событийная цепочка, жесткая последовательность каждого звена. Долженствование определяет поведение героя. Он принимает свою судьбу, а сказочные помощники помогают ему. Бесприютный скиталец, едущий неизвестно откуда и неизвестно куда, преображается в царевича-воина, которому предстоит освободить узницу царевну-красоту от власти чародея-царя и обрести сакральный мир вечной молодости и бессмертия.

Образ царевны, царь-девицы, мы видим в центре стихотворения Полонского «Царь-девица» (1876). Она пришла сюда прямо из русской сказки со всеми своими атрибутами: «В дни ребячества я помню / Чудный отреческий бред: / Полюбил я царь-девицу, / Что на свете краше нет. // На челе сияло солнце. / Месяц прятался в косе, / По косицам рдели звезды, – / Бог сиял в ее красе... // И жила та царь-девица / Недоступна никому, / И ключами золотыми / Замыкалась в терему» (6 : 206). Основу лирического сюжета стихотворения составляет встреча лирического героя с царь-девицей: «И уж как случилось это – / Наяву или во сне?! / Раз, она весной, в час утра, / Зарумянилась в окне: – // Вскользнула занавеска, / Вспыхнул роз махровых куст, / И, закрыв глаза, я встретил / Поцелуй душистых уст». «Отреческий бред» оказывается предчувствием этой неизбежной

РАЗДЕЛ III

и судьбоносной встречи: «С той поры ее печати / Мне ничем уже не смыть, / Вечно юной царь-девице / Я не в силах изменить...». В этом стихотворении гораздо прозрачнее выступает символика образа царь-девицы – затворницы. Она божественна и природна одновременно. Она – суженая поэта, его единственная, от века предназначеннная любовь-красота: «Жду – вторичным поцелуем / Загравив мои уста – / Красота в свой тайный терем / Мне отворит ворота...»

Царь-девица («затворница»), царевна-пленница (вспомним известное стихотворение Полонского «Узница») – эти повторяющиеся в поэзии Полонского сквозные и овеянные сказкой образы выстраиваются в смысловую символическую линию. Ее возможные интерпретации – душа, красота, любовь, молодость, поэзия. Устремленность к ним, желание проникнуть за покров обыденности в таинственную их обитель, рыцарская духовная брань ради них – одна из важнейших особенностей поэта Полонского. Не случайно в раннем детстве он мечтал «о пустыножительстве»: «...мечтал добиться святости и, быть может, в глубине своей носил уже смутный облик того ангела, которому поверял я

И мысли, детскому доступные уму,
И сердцу детскому доступные желанья!» (5 : 289)

Как неразрывно связаны в этом признании святость и поэзия! И как необычен облик поэтического гения-музы – «ангел»! Из воспоминаний современников мы знаем, что Полонский и в зрелую пору сохранил детскую душу человека «не от мира сего». Автор сатирического «Сонника современной литературы» язвительный П. Щербина на вопрос Полонского: «Ну а меня видеть во сне, что значит?» – ответил: «Вас видеть во сне – значит с детьми беседовать» (7 : 42). Не потому ли так органично в поэзии Полонского сказочное начало? Сказка уводит в мир детства и сквозь него еще дальше – в мир «до меня»: «Детство нежное, пугливое, / Безмятежно-шаловливое / В самый холод вешних дней / Лаской матери пригретое, / И навеки мной отпетое / В дни безумства и страстей, / Ныне всеми позабытое, / Под морщинами сокрытое / В недрах старости моей – / Для чего ты вновь встревожило / Зимний сон мой – словно ожило / И повеяло весной? – / Не без думы, не без трепета, / Слыши я наивность лепета: / – Старче! Разве ты – не я?! / Я с тобой навеки связано, / Мной вся жизнь тебе подсказана, / В ней сквозит мечта моя; – / Не напрасно вновь являюсь я, – / Твоей смерти ожидаюсь я, / Чтоб припомнило и я / То, что в дни моей беспечности / Я забыло в недрах вечности – / То, что было до меня»(8 : 1–2).

Библиографический список

1. Бунин И. А. Собр. соч.: в 9 т. М., 1966. Т.7.
2. Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М., 1978.
3. Орлов П. А. Я. П. Полонский. Критико-биографический очерк. Рязань, 1961.
4. Полонский Я. П. Вечерний звон. СПб., 1890.
5. Полонский Я. П. Проза. М., 1988.
6. Полонский Я. П. Сочинения: в 2 т. М., 1986. Т. 1.
7. Русская мифология: Энциклопедия. М., СПб., 2006.
8. Фридлянд В. Г. Поэт сердечной и гражданской тревоги // Полонский Я. П. Лирика. Проза. М., 1984.